## Писатели, rоторых я знал

Уильям Сомерсет Моэм

### I

У Хэзлитта есть замечательное эссе под названием «Моя первая встреча с поэтами». В нем он вспоминает, как познакомился с Колриджем и Вордсвортом. Колридж приехал в Шрусбери, чтобы стать пастором в унитарианской общине; его предшественник, мистер Роув, вышел к карете встречать гостя, но, хоть и заметил круглолицего человека в коротком черном сюртуке, оживленно беседовавшего с попутчиками, не признал в нем того, кого ждал. Пастор вернулся домой. Почти сразу за ним в дверь вошел тот самый круглолицый джентльмен и, «заговорив, рассеял все сомнения. Все время, что он там пробыл, Колридж не закрывал рта и, насколько мне известно, так с тех пор и говорит не переставая». Отец Хэзлитта, пастор-диссентер, жил в десяти милях от Шрусбери, и несколькими днями позже Колридж отправился навестить родителя. Там ему представили Хэзлитта, которому в то время исполнилось двадцать лет. Поэт нашел в молодом человеке заинтересованного и понятливого слушателя и пригласил его той же весной погостить у себя в Нетер-Стоуи. Хэзлитт принял приглашение. Дня через два после него приехал Вордсворт. «Он сразу же уничтожил половину стоявшего на столе чеширского сыра и гордо заявил, что даже ему, с его опытом, женитьба открыла много новых жизненных радостей, чем выгодно отличается от женитьбы мистера Саути». На следующий день Вордсворт в сопровождении Колриджа и Хэзлитта отправился в Альфоксден, где читал на открытом воздухе «Питера Белла». «В декламации обоих, и Колриджа, и Вордсворта, — вспоминает Хэзлитт, — был некий ритм, который завораживал слушателей, подчиняя их себе и лишая воли. Возможно, поэты обманывали сами себя, прибегая к такому сомнительному аккомпанементу». Взволнованный и восхищенный, Хэзлитт не утратил ни своего критического ума, ни чувства юмора.

Я взялся за эту статью отчасти потому, что мне очень нравится эссе Хэзлитта. Однако я не могу писать о великих людях, подобных Колриджу и Вордсворту. «Балладу о Старом Мореходе», «Кубла Хана» и «Одинокую жницу» будут читать, пока жива английская поэзия, но никто не поручится, что авторы, о которых я собираюсь рассказать, останутся в памяти потомства. Индийские монисты верят, что Брахма создал этот мир без всякой цели, просто потому, что бурная деятельность — один из его атрибутов; в том, что литературную судьбу определяют потомки, есть такая же злая и циничная насмешка судьбы. Своенравие этих людей превышает все мыслимые пределы. Они не принимают во внимание добродетель и трудолюбие, им безразличны высокие помыслы и благородство целей. Какая несправедливость, что миссис Хамфри Уорд с ее обширными познаниями, прекрасным литературным стилем и несомненным дарованием, с ее добросовестностью и серьезностью забудется, а французский аббат восемнадцатого века, беглый монах и борзописец, кропавший длинные и нечитабельные романы, останется жить в веках только потому, что однажды ему случилось написать историю маленькой шлюшки по имени Манон Леско.

Прежде чем начать, необходимо сделать оговорку, что, хоть я и был знаком с писателями, о которых собираюсь рассказывать, в течение многих лет, ни с кем из них меня не связывала тесная дружба. Это объясняется тем, что до того, как прославиться в качестве автора легких комедий, я знал очень мало писателей, и все они были мелкой рыбешкой вроде меня. Близкими друзьями обычно становятся те, с кем сходишься еще подростками, в крайнем случае — лет в двадцать. Я стал популярным драматургом в тридцать четыре года, и хоть потом я встречался со многими литераторами, все они были значительно старше меня и слишком заняты своими делами и друзьями, чтобы наше знакомство переросло в нечто большее. Я всю жизнь был скитальцем и, когда репетиции пьес не требовали моего присутствия в Лондоне, подолгу жил за границей, поэтому не мог поддерживать связь с людьми, с которыми благодаря своему успеху смог познакомиться. Французские писатели большую часть года проводят в Париже. Они образуют кружки, члены которых постоянно встречаются в кафе, в редакциях газет, в своих квартирах; они вместе обедают, общаются и обсуждают книги; пишут друг другу длинные письма (в расчете на будущие публикации). Они вместе защищают кого-то и нападают на кого-то. Английские писатели совершенно другие. В целом они абсолютно не интересуются коллегами. Они предпочитают жить за городом и в Лондон приезжают только по необходимости. Английские писатели вращаются во всех кругах общества, а не только в литературных. Одни, как Генри Джеймс, предпочитают дружить с маленькой группкой своих поклонников или, как Герберт Уэллс, с людьми, разделяющими их интересы. Если вы не принадлежите ни к одному из этих классов, вам вряд ли удастся сойтись с ними поближе. Но главная причина, по которой мне не удалось сойтись с писателями, о которых я собираюсь рассказать, заключается в свойствах моей натуры. Робость, замкнутость и крайняя застенчивость мешают мне быть в доверительных отношениях с теми, с кем я не очень хорошо знаком, и если кому-нибудь из друзей случается поделиться со мной своими жизненными невзгодами, я теряюсь и не знаю, чем им помочь. Большинство людей любит говорить о себе, и когда мои знакомые рассказывают такие вещи, которые они должны были бы скрывать, мне становится неловко. Я бы предпочел только догадываться об их сердечных тайнах. К тому же мне несвойственно принимать признания за чистую монету и на меня трудно произвести впечатление. Люди меня забавляют, а не внушают уважение.

Не могу сказать, что был близко дружен с теми более или менее известными людьми, воспоминания о которых я предлагаю вниманию читателей, и потому портрет этих персонажей получился у меня не совсем полным.

Я увидел Генри Джеймса задолго до того, как с ним познакомился. Однажды мне достались два билета в бельэтаж на премьеру его пьесы «Гай Домвил». Не помню, как так вышло: в то время я был еще студентом-медиком, а билеты на премьерный спектакль с Джорджем Александром в главной роли расходились между критиками, завзятыми театралами, друзьями директора и прочими важными персонами. Пьеса с треском провалилась. Диалоги были изящны, но несколько сложны для восприятия, и в их ритме присутствовала некая монотонность. Генри Джеймс написал эту пьесу в пятьдесят лет, и трудно понять, как мог такой опытный автор соорудить подобное нагромождение бессмыслиц. Второй акт содержал неприятную сцену с притворным опьянением, от которой становилось не по себе. Было стыдно за автора. Наконец пьеса подошла к концу, и Генри Джеймс весьма недальновидно вышел на сцену, чтобы, по унизительному обычаю того времени, поклониться публике. Его встретили таким свистом и улюлюканьем, какого я ни до, ни после того не слышал. С моего места в бельэтаже его фигура казалась странно искаженной. На сцене стоял полный человек на коротеньких ножках, из-за обширной лысины пространство голой кожи на лице казалось огромным, несмотря на бороду. Генри Джеймс смотрел на враждебную публику, челюсть у него отвисла, рот слегка приоткрылся, и на лице отразилось полное замешательство. Он совершенно оцепенел. Не знаю, почему не опустили занавес. Время тянулось бесконечно, публика не смолкала. В партере и бельэтаже захлопали, и Генри Джеймс потом говорил, что это был знак одобрения, но он ошибся. Люди хлопали без всякого воодушевления, только в знак протеста против грубости галерки, поскольку не могли вынести унижения несчастного писателя. Наконец вышел Джордж Александр и увел его, раздавленного и потерянного, за кулисы.

В письме брату Уильяму Генри Джеймс, как многие драматурги, пережившие провал, писал, что его пьеса оказалась «слишком утонченной для вульгарного лондонского зрителя». Это неправда. Пьеса была плоха. Возможно, публика бы так не возмущалась, если бы ее не вывело из себя совершенно невероятное поведение героев. Мотивы их поступков, как и во многих других произведениях Генри Джеймса, были совершенно не свойственны нормальным людям, и хотя в прозе у него получалось скрыть этот факт от читателей, на сцене персонажи выглядели вызывающе недостоверными. Увидев действие, полностью лишенное здравого смысла, публика почувствовала себя обманутой. Ее негодование было вызвано не скукой, а возмущением.

Понятно, какую пьесу намеревался создать Генри Джеймс, но ему это явно не удалось. Он презирал английских драматургов и считал, что сам он может писать пьесы гораздо лучше. За несколько лет до этого, в Париже, он писал, что «превзошел Дюма, Ожье и Сарду» и «знает все, что знали они, и еще гораздо больше». Совершенно очевидно, почему из него не получился драматург. Он повел себя как человек, который умеет ездить на велосипеде и на этом основании решил, что сможет ездить на лошади. Если, руководствуясь подобными соображениями, он отправится на охоту в Питчли, то плюхнется в лужу перед первой же изгородью. К несчастью, провал Генри Джеймса еще больше укрепил уверенность театрального руководства в том, что романист неспособен написать хорошую пьесу.

### II

Я познакомился с Генри Джеймсом много лет спустя, когда уже я стал автором успешных пьес. Это произошло на обеде у леди Рассел, автора «Элизабет и ее немецкого сада», в квартире на Букингем-гейт, если я ничего не путаю. Собралось литературное общество, и Генри Джеймс, конечно, был там главным светским львом. Он сказал мне пару комплиментов, но, как мне показалось, довольно пустых. Какое-то время спустя я попал на дневной спектакль, который давало «Общество любителей сценического искусства». Ставили «Вишневый сад», и я оказался рядом с Генри Джеймсом и миссис У. К. Клиффорд, вдовой известного математика и автором двух отличных романов: «Преступление миссис Кит» и «Тетушка Энни». Антракты были длинными, так что мы успели наговориться. Поскольку вершиной драматического искусства Генри Джеймс считал Александра Дюма и Сарду, вполне естественно, что «Вишневый сад» вызвал у него недоумение. Во втором антракте он принялся объяснять нам, как противна ему, с его любовью к французским авторам, эта русская бессвязность. Продираясь по извилистым лабиринтам своих мыслей, он то и дело останавливался в поисках подходящего слова; сообразительная миссис Клиффорд моментально догадывалась, какое слово он подыскивал, и тут же подсказывала. Этого ему хотелось меньше всего. Воспитание не позволяло мистеру Джеймсу возмутиться вслух, но на его лице явственно читалось недовольство; он раз за разом упрямо отказывался от предложенных ею слов и продолжал напряженно искать другие, а она вновь и вновь предлагала свои подсказки. Это была настоящая комедия.

Незадачливую чеховскую героиню играла Этель Ирвинг. Она была женщиной капризной, невротичной и эмоциональной, что полностью соответствовало характеру героини, и играла превосходно. Эта актриса пользовалась огромным успехом в одной из моих пьес, и Генри Джеймсу очень хотелось расспросить о ней поподробнее. Когда я рассказал ему все, что знал, у него возник очень простой вопрос, однако ему казалось, что, сформулированный напрямик, он прозвучит грубо и, пожалуй, немного высокомерно. И я, и миссис Клиффорд прекрасно понимали, что он хочет спросить, но Генри Джеймс подбирался к своему вопросу, как охотник подкрадывается к антилопе. Он медленно приближался и снова отступал, если ему казалось, что пугливое животное его почуяло. В конце концов миссис Клиффорд не сдержалась и выпалила: «Вы хотите спросить, леди ли она?» На лице Генри Джеймса отразилось величайшее страдание. В таком виде вопрос казался ему чудовищно вульгарным. Он притворился, что не услышал. Он состроил маленькую гримасу отчаяния и сказал: «Словом, если бы вас спросили напрямик, назвали бы вы ее femme du monde?»[[1]](#footnote-1)

В 1910 году я в первый раз приехал в Америку и, естественно, не мог не посетить Бостон. После смерти брата Генри Джеймс жил в Кембридже, штат Массачусетс, в доме своей невестки, и миссис Джеймс пригласила меня на обед. За столом нас было только трое. Не помню, о чем мы говорили, но Генри Джеймс был явно чем-то расстроен. После обеда, когда вдова оставила нас вдвоем в гостиной, он рассказал мне, что обещал брату оставаться в Кембридже в течение шести, если не ошибаюсь, месяцев после его смерти на случай, если тому удастся передать сообщение с того света. Тогда рядом будут два близких человека, которые смогут принять его послания. Однако нервы у Генри Джеймса были в таком состоянии, что никто бы не поверил его рассказу. Его чувства так обострились, что он мог вообразить все что угодно, но до сих пор никакого сообщения не приходило, а шесть месяцев уже почти истекли.

Когда пришло время прощаться, Генри Джеймс настоял, что проводит меня до остановки трамвая, идущего обратно в Бостон. Я отказывался, говоря, что прекрасно справлюсь сам, но мой хозяин не хотел даже слушать. За этим стояла не только доброта и обходительность: Америка казалась ему непонятным, пугающим лабиринтом, в котором я без него обязательно потеряюсь и пропаду.

Когда мы шли по улице, он рассказал мне то, что хорошие манеры не позволяли ему сказать в присутствии миссис Джеймс. Бедняга считал дни, оставшиеся до того момента, как, выполнив обещание, он сможет отплыть к благословенным берегам Англии. Он мечтал об этом всей душой. Здесь, в Кембридже, писатель чувствовал себя одиноким и несчастным. Он твердо решил никогда больше не возвращаться в эту чужую, непонятную страну Америку. И тогда Генри Джеймс произнес фразу, которая показалась мне такой странной, что я ее никогда не забуду: «Я брожу по огромным пустым улицам Бостона, — сказал он, — и не вижу на них ни души. Даже в Сахаре невозможно быть более одиноким». Едва вдали показался трамвай, он страшно разволновался и начал бешено размахивать руками, когда до трамвая еще оставалось больше четверти мили. Он боялся, что трамвай не остановится, и умолял меня запрыгивать в вагон как можно скорее, поскольку водитель не будет ждать и при малейшей неосторожности с моей стороны трамвай потащит меня по мостовой, и если я не убьюсь насмерть, то обязательно покалечусь. Я заверил, что мне уже много раз случалось благополучно садиться в трамвай. Американские трамваи, сказал он, совсем другие, они преисполнены дикости, бесчеловечности, грубости сверх всякой меры. Я так заразился его волнением, что, когда трамвай подъехал и я вскочил в вагон, у меня было такое чувство, будто я чудом избежал верной смерти. Я видел, как Генри Джеймс на своих коротких ногах стоит посередине дороги, глядя вслед удаляющемуся трамваю, и чувствовал, что он все еще дрожит от пережитого ужаса.

Но как бы Генри Джеймс ни скучал по Англии, я никогда не поверю, что в ней он ощущал себя как дома. Для англичан он оставался чужим. Он не чувствовал их, как чувствуют английские писатели, и поэтому его английские персонажи никогда не получались правдоподобными. Американские персонажи удавались ему гораздо лучше, по крайней мере, с точки зрения англичанина. Несмотря на явную одаренность, ему не хватало эмпатии, которая позволяет писателям поставить себя на место героев, думать, как они, и переживать их эмоции. Когда Флобер описывал самоубийство Эммы Бовари, его рвало, как если бы он проглотил мышьяк. Трудно представить себе подобную реакцию Генри Джеймса, если бы ему пришлось описывать схожий эпизод. Взять, к примеру, «Автора „Больтраффио“». В этом рассказе мать позволяет своему единственному ребенку, семилетнему мальчику, умереть от дифтерии лишь для того, чтобы он никогда не подвергся растлевающему влиянию книг, написанных его отцом, которые она глубоко осуждает. Тот, кто представляет себе материнскую любовь и хоть раз видел мучения ребенка, беспокойно мечущегося в своей кроватке, борясь за каждый вдох, никогда бы не выдумал такой чудовищной истории. Французы называют это littérature.[[2]](#footnote-2) Этим словом они обозначают произведения, созданные в расчете на дешевый литературный эффект, лишенный всякого правдоподобия. Писатель задается вопросом: что испытывает человек, совершивший убийство, и тут же создает персонаж, который убивает лишь для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Это и есть littérature. Люди совершают убийство ради выгоды, а не для того, чтобы получить необычные впечатления. Великие романисты жили полной жизнью, а Генри Джеймс лишь наблюдал ее из окна. Нельзя убедительно изобразить то, чего не пробовал, или придумать что-то (как Бальзак или Диккенс), чего раньше не знал. У тех, кто не участвовал в этой трагикомедии, никогда не получится описать ее со всей достоверностью. Как бы писатель ни старался правдиво изобразить действительность, роман не может соответствовать жизни так точно, как литография соответствует картине. Выдуманные персонажи и события — всего лишь схема, но если герои испытывают те же чувства, что и сами читатели, и действуют из тех же побуждений, то эта схема представляется более правдоподобной.

Генри Джеймс относился к друзьям и родственникам с большой теплотой, но это вовсе не значит, что он умел любить. В самом деле, описывая в своих романах и рассказах глубокие человеческие чувства, он проявляет такую редкую глухоту, что даже у заинтересованных читателей (заинтересованных, главным образом, странностью фантазии писателя) возникает желание отложить книгу: ведь они на собственном опыте знают, что люди не ведут себя так, как заставляет их автор. К романам Генри Джеймса нельзя относиться так же серьезно, как, к примеру, «Госпоже Бовари» или «Анне Карениной», они читаются с улыбкой, со сдержанным недоверием, с каким мы читаем драматургов эпохи Реставрации. (Это сравнение не так натянуто, как может показаться на первый взгляд: будь Конгрив беллетристом, он вполне бы мог сочинить то непристойное повествование о беспорядочных связях, которое Генри Джеймс озаглавил «О чем знала Мэйси».) Между его романами и романами Флобера и Толстого такая же разница, как между картинами Домье и графическими работами Константена Гиса. На его рисунках красивые женщины едут по Булонскому лесу в шикарных экипажах, но под их элегантными нарядами нет тел. Они прелестны, забавны, но бесплотны, как мечты. Романы Генри Джеймса — словно паутина на чердаке старого дома: тонкая, запутанная и даже красивая, однако горничная, наводя порядок, без сожаления сметет ее метлой.

В мои намерения не входит критиковать работы Генри Джеймса, и все же трудно писать о нем только как человеке, а не как писателе. Эти две ипостаси неразделимы. Автор растворен в человеке. Писательство было искусством, которое придавало смысл его жизни, и кроме этого для него ничего не существовало. Его не интересовала живопись или музыка. Когда Госс отправлялся в Венецию, Генри Джеймс наказывал ему обязательно пойти и посмотреть «Распятие» Тинторетто в Сан-Кассиано. Странно, почему он выбрал эту красивую, но несколько театральную картину, а не «Введение во храм» Тициана или «Иисус в доме Левия» Веронезе. Никто из тех, кто знал Генри Джеймса во плоти, не может читать его прозу бесстрастно. В каждой написанной им строчке слышится звук его голоса; вы уже готовы смириться (не радостно, но снисходительно) с чудовищным языком его последних работ, с его уродливыми галлицизмами, злоупотреблением наречиями, со слишком сложными метафорами и мучительно длинными предложениями, потому что они — неотъемлемая часть обаяния, добросердечия и милой высокопарности памятного вам человека.

Я не уверен, что Генри Джеймсу повезло с друзьями. Они ревновали друг к другу, и к попыткам проникнуть в тесный круг его близких друзей относились с явным недружелюбием. Как псы, грызущиеся из-за кости, они рычали всякий раз, когда кто-нибудь пытался оспорить их исключительные права на бесценный объект обожания. Их благоговейное почтение не шло ему на пользу. Иногда они мне казались немного глуповатыми: перешептываясь и радостно подхихикивая, они передавали друг другу важную новость о том, что предмет, на производстве которого составила себе состояние вдова Ньюсом из романа Генри Джеймса «Послы» и который он в своей книге тактично обошел молчанием, — на самом деле ночной горшок, и эти сведения получены от него самого. Мне это не казалось таким забавным, как им. Думаю, Генри Джеймс не требовал от своих друзей восхищения, но оно доставляло ему удовольствие. Английские писатели, в отличие от своих немецких и французских коллег, не стремятся обзаводиться поклонниками. Положение «дорогого мэтра» кажется им немного неловким. Возможно, потому, что Генри Джеймс сначала познакомился со знаменитыми писателями во Франции, он воспринимал пьедестал, на который водрузили его почитатели его таланта, как естественную прерогативу. Он был обидчив и сердился, когда к нему относились, как он считал, без должного уважения. Один мой молодой друг, ирландец, гостил на выходных в усадьбе «Хилл» вместе с Генри Джеймсом. Миссис Хантер, хозяйка, сказала моему другу, что он талантливый молодой человек и в субботу, во второй половине дня, Генри Джеймс приглашает его к себе поговорить. Мой друг был человек горячий и нетерпеливый; Генри Джеймс, с его бесконечными поисками слов, которые бы наиболее точно выразили его мысль, настолько вывел его из равновесия, что он брякнул: «Мистер Джеймс, я человек маленький. Не стоит в разговоре со мной так утруждать себя подбором правильного слова. Меня устроит первое попавшееся». Генри Джеймс был глубоко оскорблен и пожаловался миссис Хантер, что молодой человек разговаривал с ним очень грубо. Миссис Хантер сурово его отчитала, и по ее настоятельному требованию моему другу пришлось извиниться перед знаменитым писателем. Однажды Джейн Уэллс, жена Герберта Уэллса, заманила нас с Генри Джеймсом на благотворительный танцевальный вечер в помощь какому-то персонажу, в котором ее муж принимал участие. Миссис Уэллс, Генри Джеймс и я беседовали в вестибюле, перед входом в бальную залу, когда к нам подлетел какой-то нахальный молодой человек. Прервав длинную тираду Генри Джеймса, он схватил Джейн Уэллс за руки и воскликнул: «Пойдемте, миссис Уэллс, потанцуем, пока этот старикан вас совсем не заболтал!» Это прозвучало немного невежливо. Джейн Уэллс встревоженно оглянулась на Генри Джеймса, а затем, натянуто улыбнувшись, отошла с нахальным молодым человеком. Генри Джеймс не привык к такому обращению и, вместо того чтобы просто посмеяться, как оно того заслуживало, ужасно оскорбился. Когда миссис Уэллс вернулась, он поднялся и чуть сухо раскланялся.

Когда человек перебирается из одной страны в другую, он с большей вероятностью заимствует недостатки ее обитателей, чем их добродетели. В Англии, где жил Генри Джеймс, всегда обращали внимание на классовую принадлежность, и, возможно, именно этим объясняется его странное отношение к тем, кому выпало несчастье родиться в бедности. Не будь он писателем, Генри Джеймс никогда бы не поверил, что кому-то приходится трудиться, чтобы заработать на хлеб. Смерть представителя низшего сословия вызывала у него лишь легкий смешок. Такое отношение усугублялось тем, что сам он происходил из хорошей семьи, но, пожив немного в Англии, выяснил, что для англичан все американцы одинаковы. Видя, что англичане принимают его соотечественников, составивших себе состояние в Мичигане или Огайо, так же сердечно, как если бы они принадлежали к лучшим семействам Нью-Йорка и Бостона, он, отчасти из самозащиты, стал еще более разборчивым в своих знакомствах. Иногда он делал довольно курьезные ошибки и приписывал какому-нибудь молодому человеку, завоевавшему его симпатию, знатное происхождение, которым тот явно не обладал.

Если в моем описании Генри Джеймс выглядит немного нелепо, то лишь потому, что именно таким он мне представляется. На мой взгляд, он относился к себе чересчур серьезно. Мы косо смотрим на человека, который постоянно напоминает нам, что он — джентльмен. Думаю, Генри Джеймсу не стоило постоянно настаивать на своем писательстве. Лучше, когда за тебя это говорят другие. Но я никогда не забуду его любезность, гостеприимство и остроумие. Он обладал необычайными дарованиями, хотя и слишком часто, как я считаю, направлял их не в ту сторону; впрочем, это мое личное мнение, и я никому его не навязываю. Несмотря на нереалистичность, его последние романы настолько хороши, что после них хочется читать только самые лучшие книги.

### III

С Гербертом Уэллсом я впервые встретился в квартире Регги Тернера, рядом с Беркли-сквер. Я тогда жил неподалеку, на Маунт-стрит, и время от времени заходил его проведать. Регги Тернер был самым остроумным человеком из всех, кого я знал. Я не буду даже пытаться описать его чувство юмора, поскольку Макс Бирбом уже сделал это за меня в эссе под заглавием «Смех», и сделал блестяще. Однако, отдавая дань уважения талантам Регги, Макс также добавил, что он был не чуток к юмору других. Расстроенный Регги спросил меня, правда ли это, и я вынужден был согласиться с Максом. Регги любил публику, но ему вполне хватало трех или четырех человек. Рассказывая о чем-либо, он украшал свою речь всякими шуточками, от которых все смеялись до колик, пока наконец не приходилось просить его остановиться. По роду занятий Регги Тернер был писателем, но почему-то, когда он брался за перо, веселость, изобретательность и легкость оставляли его, и романы получались необычайно скучными. Успехом они не пользовались. Он говорил: «У большинства писателей ценятся первые издания их произведений, а у меня — вторые. Это такая редкость, что их просто не существует». Я привожу здесь его остроты, поскольку, как мне кажется, они не слишком хорошо известны. Регги был одним из немногих друзей Оскара Уайльда, которые не отвернулись от него в бесчестье. Он был в Париже, когда Уайльд умирал в дешевой грязной гостинице на левом берегу Сены. Тернер заходил к нему каждый день. Однажды он нашел друга ужасно расстроенным и спросил его, что случилось.

— Мне вчера приснился ужасный сон: я ужинал с мертвецами, — сказал Оскар.

— Ах, вот как! — ответил Регги. — Не сомневаюсь, ты был душою общества.

Уайльд расхохотался и немного повеселел. И в этой шутке не столько остроумия, сколько человечности и сострадания.

В тот день, когда меня представили Герберту Джорджу Уэллсу, они с Регги вместе обедали и вернулись в его квартиру, чтобы продолжить беседу. Уэллс тогда был на вершине славы. Я совершенно не ожидал, что встречу его там, и поэтому немного смутился. Как раз в то время мои пьесы стали пользоваться, как писали газеты, «потрясающим успехом», и это, как я прекрасно понимал, навсегда лишило меня уважения среди интеллигенции. Г. Дж. был со мной очень приветлив, но, мне, с моей обостренной чувствительностью, показалось, что он смотрит на меня с оттенком бесцеремонного удивления, как если бы я был Артуром Робертсом или Дэном Лино.[[3]](#footnote-3) В то время он был занят перестройкой мира в соответствии со своими представлениями о том, что правильно, и из всех людей его интересовали лишь сторонники и противники его идей. Первых он вербовал в свои ряды, а со вторыми спорил и, если их не удавалось переубедить, с презрением от них отворачивался.

Хотя после этого мы с ним время от времени встречались, наше знакомство переросло в дружбу лишь несколько лет спустя, когда я поселился на Ривьере, где у Г. Дж. проводил значительную часть года. Позднее, когда он расстался с женщиной, с которой жил (на каминной полке у них в гостиной была вырезана фраза: «Этот дом построен двумя влюбленными»), и оставил ей дом, Г. Дж. стал время от времени останавливаться у меня. Он оказался прекрасным компаньоном: не таким остроумцем, как Макс Бирбом или Регги Тернер, однако человеком, тонко чувствующим юмор и способным посмеяться не только над другими, но и над самим собой. Однажды Г. Дж пригласил меня к себе на обед, на котором должен был присутствовать Анри Барбюс — автор наделавшего много шуму романа «Огонь». С тех пор прошло много лет, и я помню только, что Барбюс оказался высоким и тощим, с длинными косматыми волосами. На нем был поношенный черный костюм, делавший его похожим на наемного участника похоронной процессии. Его темные глаза горели сердитым огнем, говорил он возбужденно и взволнованно. Барбюс был пламенным социалистом, и его речь изливалась быстрым потоком. Г. Дж. понимал по-французски вполне прилично, но ему приходилось долго подбирать слова, так что за столом говорил в основном один Барбюс. Он обращался к нам, как к публике на митинге. После его ухода Г. Дж. повернулся ко мне с кривой улыбкой и сказал: «Какой глупостью представляются нам наши собственные идеи, когда мы слышим их из уст других людей». Уэллс обладал острым умом, и хоть у него была привычка высмеивать людей, которые с ним не соглашались, он потешался над ними без всякой злобы.

У Г. Дж. было очень сильно развито половое влечение, и, как он не раз говорил мне, эта потребность не имела никакого отношения к любви. Это была чистая физиология. Если, согласно существующему мнению, чувство смешного не совместимо с любовью, то Г. Дж. никогда не был влюблен: он очень четко видел в предметах своих переменчивых привязанностей нелепые черты, и временами казалось, что он относится к ним как к комедийным персонажам. Он был неспособен идеализировать объект своего желания, как делает большинство из нас под влиянием любви. Если очередная его пассия была глупа, она скоро ему надоедала, а если умна, то рано или поздно он ею пресыщался. Пирог без сахара ему не нравился, а с сахаром казался слишком приторным. Г. Дж. любил свободу и, когда подозревал, что женщина хочет ее ограничить, злился и резко разрывал отношения. Это не всегда проходило безболезненно, и время от времени ему приходилось выслушивать упреки и обвинения, к которым даже он не мог отнестись с обычным своим легкомыслием. Как большинство творческих личностей, Г. Дж. был занят преимущественно собой. В том, что разрыв причиняет другой стороне боль и унижение, он видел лишь проявление глупости. Я оказался вовлечен в один из таких бурных эпизодов его жизни, и, жалуясь мне на свои неприятности, Г. Дж. заметил: «Женщины часто принимают собственнические инстинкты за страсть. Главная трагедия расставания заключается вовсе не в разбитом сердце, а в том, что их претензии на имущество признаны необоснованными». Г. Дж. не понимал, как отношения, которые он расценивал лишь как отдохновение от главного дела своей жизни — писательства, для кого-то еще могут быть продолжительной страстью, внушенной им самим. Меня это удивляло, поскольку физически он был не особенно привлекательным. Полноватый, с заурядными чертами. Однажды я спросил одну из его любовниц, что ее в нем привлекало. Вопреки моим ожиданиям, она назвала не острый ум и не чувство юмора; по ее словам, его тело пахло медом.

Несмотря на широкую известность и огромное влияние, которое Г. Дж. оказал на современников, он был абсолютно лишен тщеславия. За ним не водилось привычки надувать щеки. Он обладал приятными манерами и с начинающим писателем или с помощником библиотекаря в провинциальной библиотеке вел себя так же обходительно, как если бы это была знаменитость вроде него самого. Лишь позднее по усмешке или саркастическому замечанию можно было догадаться, каким ослом Г. Дж. его считает. Помню, я присутствовал на обеде в ПЕН-клубе в то время, когда Уэллс был его президентом. Присутствовало очень много людей, и после доклада посыпалось множество вопросов. Вопросы по большей части были идиотскими, но Г. Дж. отвечал на них очень вежливо. Заросший бородой мужчина — по-видимому, он считал небритость признаком интеллектуальности — периодически вскакивал и произносил короткие речи исключительной несообразности, очевидно, пытаясь привлечь внимание к собственной персоне. Г. Дж мог бы раздавить его одной остроумной репликой, но вместо этого внимательно выслушивал и отвечал, как если бы тот говорил дело. Когда все закончилось, я сказал Г. Дж., что восхищен его удивительной выдержкой, на что он со смешком ответил: «Я долго был членом Фабианского общества и приобрел там большой опыт общения с дураками».

Он не обольщался на свой счет и никогда не считал себя «художником слова». К подобным людям Г. Дж. относился скорее с презрением, чем с восхищением, и лишь добродушно посмеивался, говоря о своем старом друге Генри Джеймсе, который, как я уже неоднократно отмечал, считал себя писателем и более никем. «Я не писатель, — говорил Г. Дж., — я публицист. Моя работа — всего лишь первоклассный журнализм». Однажды, погостив какое-то время у меня дома, Г. Дж. прислал мне полное собрание своих сочинений. Когда в следующий раз он зашел ко мне, его книги ровными рядами стояли у меня на полках. Оглядев аккуратные томики в красивой красной обложке, напечатанные на хорошей бумаге, Г. Дж. провел пальцем по корешкам и с усмешкой заметил: «Так они и будут стоять мертвым грузом. Все это написано на злобу дня, а теперь время изменилось, и читать их стало невозможно». И в этих словах есть большая доля правды. Г. Дж. часто не поспевал за собственным бойким пером. Я не видел его рукописей, но, полагаю, он писал с легкостью и почти не правил. У него была манера: в каждом следующем предложении повторять сказанное в предыдущем, только другими словами. По-видимому, мысль, которую он хотел выразить, настолько его захватывала, что ему нравилось повторять ее снова и снова. Из-за этого его тексты излишне многословны.

Г. Дж. хорошо разбирался в принципах короткого рассказа, что позволило ему создать довольно много очень неплохих произведений и несколько настоящих шедевров. Про его ранние романы, которые он писал ради заработка, такого, конечно, не скажешь, и он относился к ним пренебрежительно. Г. Дж считал, что писатель обязан отвечать на актуальные вопросы своего времени и внушать читателю самые передовые взгляды. Ему нравилось сравнивать роман с ковром, в котором переплетаются самые разные темы, и он не принимал мое возражение, что ковер — все-таки нечто цельное. Художник, создавший его, придал ему форму, гармонию, связность и упорядоченность. Это не просто мешанина из разных кусков.

Читать последние романы Г. Дж не то чтобы невозможно, но удовольствия они не приносят. Начинаешь с интересом, потом становится скучно, и только усилием воли заставляешь себя продолжать. По общему мнению, лучшим его романом считается «Тоно Бенге». Он написан с обычной для Г. Дж. живостью, хотя, возможно, подобный стиль больше подходит для научного трактата, чем для романа, зато характеры выписаны очень живо. Он сознательно избегал нагнетания напряжения, к которому прибегает большинство романистов, и почти в самом начале рассказывает читателю, что случится дальше. В соответствии со своими представлениями о роли писателя Уэллс позволяет себе множество отступлений, что, естественно, раздражает тех его читателей, кто хочет следить за жизнью героев.

Однажды, когда Г. Дж. гостил у меня, он в ходе разговора обмолвился:

— Люди меня интересуют только в массе. Отдельные личности мне безразличны.

А затем с улыбкой добавил:

— Вы мне симпатичны. Я к вам искренне привязан, но вы меня абсолютно не интересуете.

Я рассмеялся. Для меня это не было новостью.

— Боюсь, мой друг, — сказал я, — у меня не получится умножить себя на десять тысяч, чтобы вы мной заинтересовались.

— На десять тысяч? — воскликнул он. — Да это сущие пустяки! Тогда уж на десять миллионов!

За свою жизнь Г. Дж. встречался с множеством людей, и, несмотря на его неизменную вежливость и приветливость, они, за редким исключением, производили на него не большее впечатление, чем актеры массовки в кино.

Мне кажется, именно поэтому его романы хуже, чем хотелось бы. Люди, которых он выводит, вовсе не личности, а деятельные и разговорчивые марионетки, созданные для выражения идей, которые Г. Дж. отстаивал или, наоборот, порицал. Они не развиваются в соответствии со своими задатками, а изменяются в связи с предметом обсуждения, как если бы головастик превращался не в лягушку, а в белку только потому, что у вас есть клетка, в которую вы хотите ее поселить. Похоже, Г. Дж. часто уставал от своих персонажей еще до середины книги и тогда попросту отказывался от всяких попыток описания характеров и переходил на откровенную журналистику. Нельзя не заметить, что в большинстве его романов действуют одни и те же герои. Раз за разом он, с небольшими вариациями, описывает нескольких людей, которые, по-видимому, сыграли важную роль в его жизни. Ему не хватало терпения на женские персонажи. Мужчины удавались ему гораздо лучше. Большинство из них — он сам в разных обличьях. Так, Траффорд из «Женитьбы» — несомненно, сам Г. Дж., каким он себя представлял и каким ему хотелось бы быть.

### IV

За последние двадцать пять лет в моем доме останавливалось множество людей, и временами мне даже хочется написать эссе на эту тему. Бывают гости, которые никогда не закрывают за собой дверь и не выключают свет, когда выходят из комнаты. Бывают гости, которые ложатся на кровать в грязных ботинках, чтобы подремать после обеда, и поэтому после их отъезда покрывало приходится стирать. Бывают гости, которые курят в постели и прожигают дырки в ваших простынях. Бывают гости, которые соблюдают диету, и для них приходится готовить особую еду, а также такие, кто ждет, пока вы наполните их бокал вином двадцатилетней выдержки, а потом говорят: «Нет, спасибо, что-то не хочется». Бывают гости, которые не ставят книги на место, и гости, которые берут том из собрания сочинений и не возвращают. Есть гости, которые занимают у вас деньги и, уезжая, забывают о долге. Бывают гости, которые не могут и получаса побыть в одиночестве, и те, которых охватывает желание поговорить в ту самую минуту, когда вы читаете газету. Есть гости, которые, где бы они ни были, хотят непременно быть где-то в другом месте, и гости, которые хотят, чтобы их развлекали с момента, как они встают с постели, и до того, как они ложатся спать. Есть гости, которые обходятся с вами, как гауляйтеры с покоренным народом. Бывают гости, которые привозят с собой грязное белье за три недели и сдают его в стирку за ваш счет. Бывают гости, которые берут от вас все, что могут, и не дают ничего взамен.

Конечно, бывают гости, которые радуются вашему обществу, всячески стараются сделать вам что-то приятное, которые обладают собственными средствами, чьи разговоры занимательны, а интересы разнообразны, которые воодушевляют и вдохновляют вас, короче говоря, которые дают вам гораздо больше, чем вы им, и чьи визиты всегда слишком коротки. Таким гостем я мог бы назвать Г. Дж. Он был гением общения. В любой компании он старался поддерживать непринужденный разговор. Время от времени мне приходилось приглашать на обед кого-нибудь из соседей — людей невероятно скучных. Г. Дж. разговаривал с ними так же внимательно и приветливо, как если бы они были в состоянии его понять. Я запомнил одну из таких бесед, поскольку то был единственный на моей памяти случай, когда Г. Дж. потерпел поражение. Одна живущая по соседству дама, узнав, что он гостит у меня, позвонила и сказала, что наслышана о нем как потрясающем рассказчике и очень бы хотела с ним познакомиться. Я пригласил ее на обед. Мы расселись за столом, и Г. Дж., который любил поговорить, с энтузиазмом принялся за дело. Дама почти сразу перебила его замечанием, из которого следовало, что она не слышала ни единого слова из того, что он сказал. Он остановился и, когда она закончила, продолжил. Дама вновь перебила, и он опять замолчал. И так продолжалось снова и снова. Было ясно, что ей не столько хочется послушать Г. Дж., сколько чтобы он послушал ее. Он состроил мне одну из своих смешных гримас и погрузился в молчание. До конца обеда мы с ним не произнесли ни слова, а в это время дама жизнерадостно изливала на нас поток оглушительных банальностей. Уходя, она поблагодарила за необычайно интересную беседу.

В последний раз я виделся с Уэллсом во время войны. Я в то время жил в Нью-Йорке, а он приезжал в Америку выступать с публичными лекциями и зашел ко мне накануне возвращения в Англию. Он сильно постарел и осунулся. В его обычной веселости чувствовалось что-то натужное. Лекции обернулись чудовищным провалом. Г. Дж никогда не был хорошим оратором. Как ни странно, он так и не научился говорить без бумажки, хотя ему очень часто приходилось выступать перед публикой. Голос у него был тонкий и писклявый, и он читал, уткнувшись носом в записи. Никто не мог разобрать, что он бубнит, и люди уходили толпами. Г. Дж. встречался с различными влиятельными людьми — они слушали вежливо, но без внимания. Это его ранило и огорчало. «Я тридцать лет твержу людям одно и то же, — в раздражении сказал он мне, — и они не желают выслушать». В этом-то все и дело. Он слишком часто говорил одно и то же. Многие из его идей были вполне разумны и понятны, но, подобно Гете, он полагал, что истину нужно постоянно повторять: *Маn muss das Wahre immer wiederholen.* [[4]](#footnote-4) У него никогда не возникало сомнений в том, действительно ли он обладает das Wahre. Людям свойственно сердиться, когда их заставляют по многу раз выслушивать то, что им и так хорошо известно. У Г. Дж. было огромное влияние на целое поколение, и он многое сделал, чтобы изменить общественное мнение. Однако он уже все сказал. Г. Дж. был потрясен, когда понял, что в нем видят лишь вчерашний день. Кто-то с ним соглашался, кто-то нет, но теперь его слушали не с волнением и энтузиазмом, а с терпеливой снисходительностью, как старика, пережившего свое время.

Он умер разочарованным.

### V

Г. Дж. не придавал большого значения чистой литературе. Думаю, авторов, стремящихся лишь к развлечению публики, он поселил бы на остров вроде того, на котором в его «Современной утопии» живут пьяницы, и там, в тепле и сытости, они могли бы читать произведения друг друга. Из всех «настоящих» писателей он был близко дружен с одним только Арнольдом Беннетом.

Одна моя знакомая рассказывала, как однажды, стоя рядом с Генри Джеймсом на большом приеме в Лондондерри-хаусе — одном из тех приемов, на которых бывают члены королевской семьи, куда надевают украшения и ордена, где женщины сияют бриллиантами, — она легкомысленно сказала ему: «Забавно, что люди из среднего класса вроде нас с вами оказались в одной компании с такими шишками». По выражению его лица она сразу поняла, что говорить этого не следовало. Ему совсем не нравилось, когда его причисляли к среднему классу, и удивление в ее глазах лишь усилило его неудовольствие. Генри Джеймс напрасно обижался, ведь, в конце концов, именно среднему классу английская литература обязана своим богатством. Это вполне естественно. Мальчик из бедной семьи получает скудное образование и вынужден с ранних лет идти работать. Он не имеет возможности много читать. У юноши из высшего сословия много соблазнов, и честолюбие, если оно у него есть, велит выбирать для себя стезю, считающуюся почетной среди тех, кому выпал столь же счастливый жребий. В обоих случаях жажда творчества должна быть очень сильна, чтобы преодолеть возникающие трудности, хотя и очень разные по своей природе. Аристократия и дворянство, насколько мне известно, породили всего двух великих поэтов — Шелли и Байрона. И одного романиста — Филдинга. Молодые люди, принадлежащие по рождению к среднему классу, получают вполне достаточное для писательского ремесла образование, у них есть доступ к библиотекам, и скорее всего на своем веку они встречали гораздо больше людей, чем сыновья ремесленника или сельского сквайра. Родные могут осуждать их за выбор ненадежной профессии литератора, но сама эта идея им не чужда и может даже стать поводом для гордости. У английского среднего класса всегда было желание подняться по социальной лестнице, и священнику, юристу или государственному служащему очень престижно иметь в семье писателя.

Думаю, Г. Дж. и Арнольда связывало скромное происхождение, а также тот факт, что им обоим пришлось прокладывать себе дорогу в литературу упорным трудом. Достигнув успеха, они оба, хоть и по разным причинам, почувствовали, что стоят немного в стороне от остального литературного мира, и это еще больше укрепило их дружбу. Но главная причина, по которой Г. Дж. испытывал к Арнольду самую искреннюю привязанность, — тот был очень симпатичным человеком.

Я впервые познакомился с ним в 1904 году, когда мы оба жили в Париже. Я снимал маленькую квартирку рядом с Бельфорским львом. Оттуда, с высоты четвертого этажа, открывался прекрасный вид на кладбище Монпарнас. Обедал я обычно в небольшом ресторане на улице Одесса. Там собирались художники, иллюстраторы, скульпторы и писатели, и нам предоставляли отдельный зал. Очень хороший обед с вином стоил два с половиной франка, и еще четыре су было принято давать Мари — веселой, бойкой на язык официантке, которая нас обслуживала. Мы все были из разных стран, и разговор с равным успехом шел на английском и на французском. Время от времени кто-нибудь приводил любовницу и ее мать, которую вежливо представлял как свою свекровь, но, по большей части, там бывали одни мужчины. В этой маленькой комнатке велись горячие споры обо всем на свете, и к тому моменту, когда мы переходили к кофе (к которому, как мне помнится, подавали отличный коньяк) и закуривали сигары по три су за штуку, воздух был уже порядочно раскален. В ход шли разнообразные колкости. Арнольд заглядывал туда раз в неделю. Много лет спустя он напомнил мне, что, когда мы в первый раз встретились в этом ресторане, я был весь белый от злости. Разговор коснулся поэтических достоинств Эредиа. Я утверждал, что в его стихах нет никакого смысла, и некий художник презрительно заметил, что в поэзии не должно быть смысла, в ней должна быть музыка. Кто-то вспомнил анекдот про Малларме и Дега. Как Дега приехал на один из знаменитых «вторников», которые устраивал Малларме, с опозданием и сказал, что «весь день пытался написать сонет, но в голову не пришло ни одной идеи». На это Малларме ответил: «Мой дорогой Дега, но для сонетов нужны не идеи, а слова». Из этого возник спор о целях и ограничениях поэзии, который взбудоражил всю компанию. Я исчерпал все свои запасы сарказма, инвектив и брани, а мой противник Родерик О’Коннор, молчаливый ирландец, совершенно невозможный тип, по-прежнему был насмешлив и хладнокровен. Спор захватил всех, и я смутно помню Арнольда, чуть улыбающегося, спокойного и немного отстраненного, вставлявшего время от времени короткие, безапелляционные, но, я уверен, здравые реплики. Он был старше большинства из нас, худой, с темными, коротко подстриженными на солдатский манер волосами. Арнольд одевался гораздо аккуратнее, чем мы, и гораздо традиционнее. Он был похож на старшего клерка из какой-нибудь городской конторы. В то время мы знали его как автора одной — единственной книги «Отель „Гранд Вавилон“» и относились к нему немного покровительственно. Мы вели себя как невероятные снобы. Некоторые из нас прочли его книгу с удовольствием и на этом основании пришли к выводу, что в ней нет ничего особенного, а остальные пожимали плечами и отказывались тратить время на такую ерунду. Вы читали «Мари Донадье»? Вот это то, что надо!

Арнольд в то время жил на Монмартре, кажется, на улице Кале, в маленькой темной квартирке, обставленной в стиле ампир. Разумеется, мебель была поддельной, но Арнольд этого не знал и очень ею гордился. В квартире царил абсолютный порядок — каждая вещь стояла на своем месте, но трудно было поверить, что кто-то может жить в такой неуютной атмосфере. Его дом производил впечатление декорации, призванной изображать жилище человека, который добросовестно играет определенную роль, но так и не смог проникнуться до конца. Решив перебраться в Париж, Арнольд ушел с поста главного редактора журнала «Женщина» и взялся осваивать профессию писателя. Через Марселя Швоба он познакомился с несколькими французскими писателями того времени. Как мне помнится, он говорил, что Швоб брал его с собой к Анатолю Франсу, который в ту пору был верховным жрецом французской словесности. Арнольд прилежно читал все французские литературные обзоры в «Меркюр де Франс» и других литературных журналах, а также Стендаля и Флобера, но главным образом Бальзака. Он говорил мне, что за год прочел всю «Человеческую комедию». Когда мы с ним познакомились, он как раз приступил к русским писателям и с энтузиазмом отзывался об «Анне Карениной». Ему казалось, что это величайший из всех романов. Мне кажется, тогда он еще не открыл для себя Чехова, а когда это случилось, его восхищение Толстым несколько умерилось. План Арнольда по достижению успеха на избранном поприще был прост и незатейлив. Он собирался зарабатывать на жизнь написанием романов, а на старость копить за счет сочинения пьес. Арнольд планировал сначала написать две-три книги, чтобы набить руку, а потом создать шедевр. Когда я спросил, какого рода шедевр он имеет в виду, Арнольд ответил: роман в духе «Великого человека», однако эта книга, добавил он, ничего ему не дала, и, чтобы продолжать писать в подобном стиле, необходимо сначала завоевать репутацию. Я слушал, но не придавал его словам большого значения. Я не верил, что Арнольд способен написать что-то важное. Поскольку незадолго до этого «Общество любителей сценического искусства» поставило мою драму «Человек чести», он попросил меня прочесть одну из его пьес. Персонажи были достоверны и диалоги естественны, но в своем желании придерживаться правды жизни он не позволял своим героям остроумных или даже просто умных реплик и, как мне показалось, изо всех сил старался избегать всего, что свойственно театральному действию. Как картина из жизни среднего класса его пьеса получилась довольно правдоподобной, мне же она показалась скучной. Впрочем, вполне возможно, что просто время для нее еще не пришло.

Как и все, кто живет в Париже, Арнольд нашел уютный ресторанчик, где можно было поесть вполне прилично и за меньшие деньги, чем в других местах. Это заведение располагалось на Монмартре, на втором этаже, и время от времени я заходил туда, чтобы пообедать вместе с ним (платили мы при этом каждый за себя). После мы шли в его квартиру, и он играл Бетховена на маленьком пианино. Арнольд был человеком в высшей степени основательным: поселившись на Монмартре в качестве писателя и ведя богемную (хотя и респектабельную) жизнь, он для полноты картины просто обязан был иметь любовницу. Но это стоило денег, а осмотрительный Арнольд приехал в Париж с конкретной целью и располагал лишь ограниченной суммой, и поэтому не мог проматывать на роскошь средства, которых едва хватало на самое необходимое. Однако недаром Арнольд был сыном «Пяти городов»[[5]](#footnote-5) — он решил проблему довольно оригинальным способом. Как-то после совместного обеда, когда мы сидели в ампирных креслах, он сказал:

— Послушайте, у меня к вам есть предложение.

— Да?

— У меня есть любовница, с которой я провожу две ночи в неделю. У нее есть еще один джентльмен, с которым она проводит две другие ночи. Воскресенье она хочет проводить дома, поэтому остаются еще две ночи, когда она свободна. Я рассказал ей про вас. Ей нравятся писатели. Мне бы хотелось, чтобы она не нуждалась в деньгах, поэтому я предлагаю, чтобы вы взяли те две ночи, когда она свободна.

Предложение меня озадачило.

— Мне кажется, это как-то слишком расчетливо.

— Она совсем не невежественная, поверьте, — настаивал Арнольд, — она много читает, мадам де Севинье и все такое, и вполне способна поддержать разговор.

Но даже это не соблазнило меня.

Арнольд был хорошим собеседником, я всегда с удовольствием проводил с ним время, но сам он мне не очень нравился: излишне самоуверенный и вполне заурядный. Я говорю это совершенно без осуждения, как отметил бы, что кто-то полноват и мал ростом. Через год я уехал из Парижа, и наше знакомство прервалось. Он написал одну или две книги, которых я не читал. «Общество любителей сценического искусства» поставило его пьесу, и она мне понравилась. Я отправил ему письмо с поздравлениями — он в ответном письме поблагодарил и назвал нескольких критиков, которые были не такого благоприятного мнения о пьесе, как я. Не помню, до или после того вышла «Повесть о старых женщинах». Когда я начинал читать, у меня было неприятное предчувствие, но оно быстро сменилось изумлением. Я и не предполагал, что Арнольд способен написать такую хорошую книгу. Она произвела на меня сильное впечатление. Позднее я прочел о ней много хвалебных отзывов, и мне кажется, было сказано все, кроме одного: эта повесть невероятно увлекательна. Возможно, не имеет смысла указывать на столь очевидное достоинство, но огромное множество великих книг им не обладают. Это самое ценное качество романиста, и Арнольду оно свойственно даже в самых незначительных его произведениях. Недавно я перечел «Повесть о старых женщинах». Хоть книга и написана скучным, монотонным языком с периодическими вкраплениями «литературщины», от которых невольно вздрагиваешь, все равно она читается с интересом. Персонажи выглядят правдоподобно, хоть и довольно заурядно, но Арнольд и не стремился сделать их необыкновенными. Однако, благодаря его мастерству, читатель следит за их судьбами с неослабным вниманием и симпатией. Мотивы поступков достоверны, герои ведут себя так, как и должны себя вести подобные люди в подобных обстоятельствах. События выглядят совершенно естественно: София оказывается в Париже во время осады и Коммуны, и автор, более падкий на сенсационность, воспользовался бы этим, чтобы вставить в роман описание сцен беспорядков, жестокостей и кровопролития. Но только не Арнольд. София спокойно занимается своими делами, обслуживает жильцов, покупает и запасает еду, зарабатывает деньги, когда может, и в целом ведет себя так, как на самом деле вело себя огромное большинство людей.

«Повесть о старых женщинах» стала популярной далеко не сразу. Ее встретили благосклонно, но без восторженных похвал, и поначалу продажи были очень незначительны. Казалось, ее ждет лишь минутный успех, подобный успеху «Мориса Геста»,[[6]](#footnote-6) а потом она будет забыта навсегда, как забывают тысячи разных романов. Однако благодаря счастливой случайности «Повесть о старых женщинах» привлекла внимание Джорджа Дорана, американского книгоиздателя, он приобрел права на выпуск книги в Америке и выпустил ее навстречу триумфу. И только после американского успеха права на нее перекупил другой издатель здесь, в Англии, и она завоевала любовь британских читателей.

В последующие несколько лет мы с Арнольдом почти не встречались, а если и встречались, то на каком-нибудь литературном или другом приеме, где можно было обменяться лишь парой слов. Однако после Первой мировой войны и до самой его смерти мы с ним виделись довольно часто. К тому времени Арнольд стал знаменитостью. В нем почти ничего не осталось от тощего, незаметного человека, которого я помнил по Парижу. Он сильно растолстел, отрастил длинную гриву седых волос и выстригал забавный петушиный хохолок, прославленный карикатуристами. Ходил он важно, выгнув спину и откинув голову назад. Арнольд всегда одевался опрятно, даже бескомпромиссно, но теперь выглядел просто шикарно. Он носил часы на цепочке, вечером надевал рубашки с оборками и особенно гордился своими белыми жилетами. Одно время, когда у него была яхта, он одевался в морском стиле: фуражка, синий пиджак с медными пуговицами и белые штаны. Ни один актер не сумел бы подобрать более выразительного костюма для этой роли. В своих записных книжках он рассказывает историю про пикник, на который я его позвал, когда он гостил у меня на юге Франции. У меня в то время была моторная яхта, и, забрав остальных гостей из Канн, мы отправились на остров Сент-Маргерит купаться, есть буйабес и сплетничать. Женщины оделись в пижамы, а мужчины — в тенниски, широкие брюки и парусиновые туфли. Арнольд не мог позволить себе такого «бесстыдства», поэтому на нем были клетчатый костюм горчичного цвета, носки с рисунком, фасонные туфли, полосатая рубашка, крахмальный воротничок и шелковый галстук После обеда задул сильный мистраль, и мы не могли уехать с острова. Кое-кто из гостей уже готовился к худшему, полагая, что мы застрянем на неопределенный срок, и, когда, двадцать четыре часа спустя, море успокоилось настолько, что можно было рискнуть отправиться в обратный путь, некоторые откровенно трусили. Арнольд все это время оставался величав, спокоен, добродушен и бодр. Когда в шесть часов утра мы, промокшие и небритые, наконец добрались до дома, он в своей пижонской рубашке и аккуратном костюме выглядел таким же опрятным и ухоженным, как накануне.

Но Арнольд стал другим не только внешне. Жизнь изменила его. Думаю, когда мы только познакомились, ему мешала робость, которую он прятал под маской высокомерия. Успех придал ему уверенности в себе и заметно смягчил его характер. Теперь он уже не сомневался в своих достоинствах. Однажды он сказал мне, что из всех романов, написанных за первые двадцать лет этого века, в памяти потомков останутся лишь два, и один из них — «Повесть о старых женщинах». Возможно, он и прав. Это зависит от того, как будут меняться вкусы. Мода на реализм приходит и уходит. Если читатели будут требовать от романов выдумки, романтики, драматизма, неожиданных поворотов, то шедевр Арнольда покажется им плоским и скучным. Когда маятник качнется в обратную сторону и читатели захотят жизненной правды, внешнего сходства, здравого смысла и трогательных описаний, они найдут все это в «Повести о старых женщинах».

Я уже говорил, что Арнольд был очень симпатичным человеком. Даже его странности казались милыми. Именно из-за них все относились к нему с такой теплотой: люди смеялись над его причудами, и поэтому не чувствовали гнета таланта. Еще больше его любили за нелепые поступки, которые позволяли окружающим испытывать приятное чувство превосходства. Арнольд никогда не был джентльменом в техническом смысле этого слова, но он никогда не был вульгарным, как нельзя назвать вульгарным поток машин, поднимающихся вверх по Ладгейт-хилл. В нем не было зависти. Лишь смелость и благородство. Он всегда откровенно говорил, что думает, и на него почти никогда не обижались, но если ему, с его чуткостью, казалось, что ранил чьи-либо чувства, он делал все разумное, чтобы залечить рану. Впрочем, только разумное. Если человек, считавший себя оскорбленным, продолжал дуться, Арнольд, пожав плечами, выбрасывал его из головы как «упрямого осла». Он до самого конца сохранял очаровательную наивность. У него было убеждение, что он прекрасно разбирается в двух вещах — деньгах и женщинах. Его друзья, все как один, считали, что он заблуждается. Из-за этого Арнольд периодически попадал в неловкие ситуации. С его здравым смыслом, а у него было больше здравого смысла, чем у большинства из нас, Арнольд совершил ошибку, свойственную многим писателям: он устроил свою жизнь по схеме романа, который мог бы сам написать. В вымышленном мире умелый автор тянет за ниточки, заставляя героев вести себя, как ему вздумается. В жизни управлять людьми гораздо сложнее.

Меня удивил покровительственный тон большинства некрологов, напечатанных после смерти Арнольда. Всех веселила его одержимость шиком и роскошью, его любовь к поездам-люкс и первоклассным отелям. Он так и не привык к миру богатства. Однажды он сказал мне: «Если вы знали настоящую бедность, в глубине души вы останетесь бедняком до конца своих дней. Я часто шел пешком, — добавил он, — при том, что вполне мог себе позволить поездку на такси, и все потому, что не мог впустую потратить шиллинг». Он восхищался расточительностью и осуждал ее одновременно.

Критика, которой Арнольд в свои последние годы уделял много внимания, также выступила с недружественными комментариями. Он любил свою работу в «Ивнинг стандарт». Ему нравилось, что она придает ему влияния и что читатели живо интересуются его статьями. Мгновенный отклик радовал его, как актера — аплодисменты после эффектной сцены. Она давала ему иллюзию, особенно приятную для писателя, что профессия неизбежно несет с собой чувство отчужденности, что он находится в гуще событий. Арнольд всегда говорил то, что думал, без страха и предвзятости. Он не терпел манерности, вычурности и высокопарности. И если ему не особенно нравились авторы, которых больше хвалят, чем читают, то еще неизвестно, на чьей стороне правда. Его больше интересовала жизнь, чем искусство. В критике он был любителем. Профессиональные критики сторонятся жизни, им удобнее иметь с ней дело, когда пот высох, а резкий запах людского рода перестал раздражать их ноздри, иначе бы они не прятались от тягот и суеты в мире книг. Им, возможно, даже нравится реализм Дефо или бьющая через край жизненная энергия Бальзака, но когда дело доходит до современников, они предпочитают книги, в которых намеренно литературный подход сглаживает шершавую правду жизни.

Именно поэтому, как мне кажется, посмертные похвалы, которые полагались Арнольду за «Старых женщин», оказались сдержаннее, чем можно было ожидать. Некоторые критики говорили, что Арнольд все-таки обладал чувством прекрасного, и в доказательство цитировали отрывки, призванные продемонстрировать его поэтическое дарование и благоговение перед тайнами бытия. Я не вижу смысла приписывать ему достоинства, которые бы им хотелось в нем видеть, и в то же время игнорировать его сильные стороны. Он не был ни мистиком, ни поэтом. Его интересовали только материальные вещи и подробности жизни простых людей, и он, как всякий писатель, описывал жизнь в соответствии со своим темпераментом.

Арнольд очень сильно заикался, иногда было больно смотреть, как он мучительно пытается произнести фразу. Его это очень угнетало. Немногие понимали, как тяжело ему дается беседа. То, что для большинства людей просто, как дыхание, требовало от него невероятных усилий. Мало кто знал, какие насмешки вызывал этот его недостаток, и каким унижениям он из-за него подвергался, как обидно ему было придумать забавную реплику и не решиться произнести ее вслух, боясь, что заикание все испортит. Это очень мешало ему нормально общаться с людьми. Возможно, если бы заикание не заставляло его заниматься самоанализом, Арнольд бы никогда не стал писателем. Но то, что, несмотря на все трудности, он сохранил душевное равновесие и судил о жизни людей с позиции нормального человека, говорит о незаурядной силе характера.

«Повесть о старых женщинах» — безусловно лучшая из его книг. И поскольку она была написана усилием воли, Арнольд считал, что может повторить успех. Он пытался это сделать в «Семье Клейхенгер» и, думаю, потерпел неудачу лишь потому, что не хватило материала. После того как он израсходовал весь свой запас на «Повесть о старых женщинах», ему было нечем заполнить грандиозную структуру, которую он замыслил. Писатель может извлечь из одного пласта лишь определенное количество руды, и, хотя сам пласт чудесным образом остается столь же жирным и богатым, как и раньше, теперь работать с ним могут только другие. Арнольд попробовал снова в «Лорде Рейнго» и, в последний раз, в «Роскошном дворце». Тут, мне кажется, больше виновата тема. Поскольку он серьезно интересовался подобными вещами, ему казалось, что и других они волнуют не меньше. Он собирал свои данные систематически, но они ложились буквами в тетрадь, а не накапливались неосознанно (как это было с «Повестью») в его душе, его памяти, его сердце. Мне кажется символичным, что Арнольд потратил последние усилия и волю на описание отеля. В этом мире он всегда чувствовал себя немного не в своей тарелке. Для него наш мир был роскошным отелем с мраморными ваннами и прекрасной кухней, в котором он ощущал себя лишь временным постояльцем. Ему было приятно и интересно находиться здесь, среди людей, но он немного опасался сделать что-то не то и всегда испытывал определенную скованность. Как его маленькая квартирка на улице Кале скорее походила на декорацию спектакля, так и в жизни он старательно и талантливо играл роль, но до конца ею так и не проникся.

Я помню, как однажды, стуча сжатым кулаком по колену, чтобы придать еще большую силу словам, слетающим с кривящихся губ, он произнес: «Я хороший человек». И это правда.

### VI

Я уже упоминал в этом эссе, что Генри Джеймсу меня представила Элизабет Рассел. Мы с ней были знакомы несколько лет, но после того, как она построила себе дом недалеко от Мужена, всего в часе езды от моего, я узнал ее получше. Известность ей принесли три книги, первая из которых — «Елизавета и ее немецкий сад» — была написана ею еще в бытность графиней фон Арним. Это легкий, забавный и при этом совсем не глупый роман. Подобный стиль англичанам обычно не удается. Английские писатели, как мне кажется, подозрительно относятся к легко читающимся книгам. Им нравится фарс, но высокая комедия оставляет их в легком недоумении. Да, действительно, Элизабет легко относилась к вещам, к которым мы привыкли подходить серьезно. Она была невысокой, полноватой женщиной, не красавицей, но с приятным, открытым лицом, совершенно не соответствовавшим ее характеру. В одном из своих афоризмов Пирсалл Смит заметил: «Самое изысканное сочетание на свете — нежное, чуткое сердце и злой, колкий язык». Я не знаю, обладала ли Элизабет нежным, чутким сердцем (если это касалось людей, а не собак), но язычок у нее был колкий, и поэтому мне всегда нравилось с ней беседовать. Она относилась к ближним с непоколебимым здравым смыслом, граничившим с цинизмом. Характерный штрих — на стене ее кабинета висела цитата: «Мир и блаженство, когда любимые далеко».[[7]](#footnote-7) У нее был тихий голос и невинные манеры, что усиливало эффект от ужасных вещей, которые она говорила. Она могла быть исключительно злой. Помню, однажды я пригласил леди Рассел на обед, когда у меня гостил ее старый друг — Г. Дж. Незадолго до этого он опубликовал автобиографию и в разговоре упомянул, что недавно снова побывал в том доме, куда приезжал из школы на каникулы. Его мать служила там горничной, а значительно позже снова вернулась туда уже в качестве экономки. Г. Дж. проводил в этом доме довольно много времени, и вполне естественно, что он жил, как принято говорить, «под лестницей», то есть в подвале со слугами.

— А в этот раз, дорогой Г. Дж., — спросила Элизабет с непринужденным видом, — вы вошли через парадную дверь?

Разумеется, ее целью было его смутить, и на мгновение ей это удалось. Г. Дж. немного покраснел, ухмыльнулся и ничего не ответил. Чуть позже один из гостей спросил Элизабет, зачем она задала такой неловкий вопрос. Она широко распахнула глаза и с абсолютно невинным выражением ответила:

— Мне просто интересно.

Однажды я спросил Элизабет, правду ли говорят, что, когда ее муж лежал больной в постели, она читала ему книгу, в которой вывела его в карикатурном виде. История гласит, что, когда она дошла до последней страницы, он, потрясенный услышанным, отвернулся к стенке и умер.

Она ласково посмотрела на меня и сказала:

— Мой муж был очень болен. Он бы так и так умер.

Элизабет дожила до преклонного возраста и до конца сохранила самоуверенные манеры женщины, осознающей свою привлекательность. Прежде чем я закончу свой рассказ, я должен привести историю, которая не только характерна, но и забавна, и будет жалко, если она забудется. Элизабет и ее второй муж, лорд Рассел, жили на Телеграф-хилл. Однажды утром, зайдя на кухню, она обнаружила там задыхающуюся от изумления кухарку. Когда Элизабет спросила, в чем дело, кухарка рассказала, что минуту назад она отсекла голову курице, которую собиралась готовить на обед, а потом обезглавленная курица отложила яйцо.

— Покажи его мне, — приказала Элизабет.

Задумчиво осмотрев яйцо, она сказала:

— Подай это его светлости завтра на завтрак.

На следующее утро, сидя за столом напротив мужа, она смотрела, как он ест яйцо всмятку. Когда он закончил, она спросила его:

— Ты не заметил в этом яйце ничего странного, Фрэнк?

— Нет, — ответил он. — А что с ним такое?

— Ничего, обычное яйцо, — сказала она, — только его отложила мертвая курица.

Он бросил на нее удивленный взгляд, потом отскочил к окну и его стошнило.

Обращаясь ко мне, она со сдержанной улыбкой добавила:

— И, знаете, мне кажется, после этого он уже не любил меня так, как раньше.

Я закончу это эссе рассказом о моей единственной встрече с миссис Уортон. Она в то время была известной и популярной писательницей. Ее короткие рассказы изобретательны и хорошо продуманы. «Итон Фром» — талантливый роман о жизни фермеров Новой Англии, хотя больше всего ее интересовали богатые и светские люди, обитающие на Пятой авеню и в роскошных особняках Ньюпорта. Действие происходит в давно прошедший период американской истории, поэтому манеры и привычки героев, а также их отношение к жизненным трудностям и невзгодам сильно отличаются от сегодняшних. Нам остается только поверить автору, поскольку она пишет о том, что знает. Давно прошедшее время придает ее романам определенное обаяние, не зависящее от их художественных достоинств. Кринолины и турнюры давно вышли из моды, однако с годами они превратились в «костюм» и радуют читателей историческим колоритом. Эти книги написаны живым и не лишенным изящества языком, и, мне кажется, она вполне заслужила свое, пусть не самое заметное, место в американской литературе.

Миссис Уортон жила в Париже, но иногда приезжала в Англию, главным образом, как мне кажется, для того, чтобы навестить своего близкого и глубоко почитаемого друга Генри Джеймса. Во время этих визитов она по нескольку дней жила в Лондоне, и в один из таких приездов леди Сент-Хелиер пригласила ее на обед. Я тоже получил приглашение. У ее светлости был большой дом на Портленд-плейс, где она устраивала множество приемов. Над ней посмеивались, считая ее охотницей за знаменитостями, но с готовностью принимали ее предложения, поскольку не сомневались, что окажутся в одной компании с обладателями самых нашумевших имен. Когда некоего преступника судили за особо жестокое убийство, его родные устроили из этого дела тему для светских сплетен. Говорят, что, когда один молодой пижон спросил у другого, не знаком ли он с обвиняемым, тот ответил: «Нет, но если его не повесят, я обязательно увижу его у леди Сент-Хелиер на следующей неделе». Вечеринка, на которую меня пригласили, устраивалась для узкого круга, и, поскольку, кроме миссис Уортон, я был там единственным литератором, после обеда хозяйка подвела меня к ней, чтобы мы могли немного поболтать. Она сидела посередине небольшого дивана, как на троне, и не выразила желания подвинуться: тогда я взял стул и сел напротив. Она была немного мала ростом, с ясными глазами, правильными чертами лица и бледной кожей, туго обтягивающей скулы. На фоне сдержанного великолепия ее наряда остальные дамы выглядели безвкусно и провинциально. Миссис Уортон говорила, и я слушал. Она говорила очень хорошо. Она говорила двадцать минут. За это время она в общих словах коснулась живописи, музыки и литературы. Она не произнесла ничего банального или несправедливого. Все сказанное ею о Морисе Барресе, Андре Жиде и Поле Валери было совершеннейшей правдой; она прекрасно разбиралась в творчестве Дебюсси и Стравинского; и, конечно же, нельзя было не согласиться с ее остроумными суждениями касательно Родена и Майоля, а также Сезанна, Дега и Ренуара. Ни в ком другом не встречал я столь тонко чувствующего и трезво мыслящего человека, обладающего к тому же тонким художественным вкусом.

Хотя, к сожалению, мои литературные друзья не считают меня интеллигентом, я очень люблю поговорить с культурными людьми и считаю, возможно, ошибочно, что вполне способен внятно изложить свою точку зрения. Конечно, иногда, когда я увожу разговор по тропинке мистицизма, рассуждаю о Дионисии Ареопагите и Луисе де Лионе, а также для полноты картины упоминаю Шанкарачарью, мои друзья начинают хватать ртом воздух, как радужная форель, вытащенная из воды. Но миссис Уортон уложила меня на обе лопатки. Людей, которые одинаково хорошо разбираются во всем, очень мало. Как-то раз я сидел в опере за одной знаменитой и талантливой дамой. Давали «Тристана и Изольду». В конце второго акта дама накинула на плечи горностаевое манто и, повернувшись к своему спутнику, сказала: «Давай уйдем. Что-то в этой пьесе нет никакого действия». Разумеется, она была права, но не в этом дело. Я знаю умных и чутких людей, которые предпочитают Верди Вагнеру, Шарлотту Бронте Джейн Остен и холодную баранину холодной же дичи. У миссис Уортон не было слабых мест. Она обладала безупречным вкусом. Ей нравились только по-настоящему прекрасные вещи. Но таково уж свойство человеческой натуры (моей, по крайней мере), что во мне просыпается дух противоречия. Мне хочется найти трещину в сияющей броне ее утонченности. Вот если бы она вдруг призналась в тайной любви к чему-то пошлому, ну, например, к Мэри Ллойд, или обмолвилась, что каждый вечер ходит в театр Виктория-палас послушать «Прогулку по Ламбет-уолк»! Но нет. Она говорила только правильные вещи. И самое худшее: я не мог не согласиться с каждым ее словом. Мне больше ничего не оставалось, кроме как признать, что Майоль скучен, а Андре Жид глуп. Чего бы ни касался разговор, обо всем она говорила ровно то, что думал я сам и что должен думать каждый здравомыслящий человек. Это было просто невыносимо!

Наконец я спросил ее:

— Скажите, а что вы думаете об Эдгаре Уоллесе?

— А кто такой Эдгар Уоллес? — ответила она.

— Как, вы не читаете триллеров? — поинтересовался я.

— Нет.

Никому до нее не удавалось вместить в односложное слово столько гнева, осуждения и обиды. Я бы не сказал, что миссис Уортон побледнела, поскольку она была женщиной светской и инстинктивно чувствовала, как лучше сгладить неловкость, но взгляд ее устремился куда-то в сторону, а губы скривила принужденная улыбка. Так ведет себя женщина, которая получила от мужчины непристойное предложение, однако хорошее воспитание подсказывает ей, что уж лучше оставить его незамеченным, чем устраивать сцену.

— Боюсь, время уже позднее, — произнесла миссис Уортон.

Я понял, что моя аудиенция закончена. Больше мы с ней никогда не встречались. Она была совершенно очаровательной женщиной, но не в моем вкусе.

1. Светская дама (*фр* .). [↑](#footnote-ref-1)
2. Литературщина (*фр.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Артур Робертс, Дэн Лино — английские комедийные актеры. [↑](#footnote-ref-3)
4. Истину нужно постоянно повторять *(нем.).* [↑](#footnote-ref-4)
5. Намек на цикл романов А. Беннета «Пять городов». [↑](#footnote-ref-5)
6. Дебютный роман английской писательницы Генри Гендел Ричардсон. [↑](#footnote-ref-6)
7. Цитата из религиозного гимна, написанного Эдвардом Бикерстетом. [↑](#footnote-ref-7)